

МЫСЛИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ
КИЕВСКИХ ГЛАГОЛИЧЕСКИХ ЛИСТКОВ

Радослав Вечерка

/Брно/

В начале 70 годов 19 века глава русской православной миссии в Иерусалиме Антонин Капустин подарил Киевской духовной академии глаголическую рукопись старославянского миссала, приобретенную им по всей вероятности в монастыре св. Екатерины на Синае. Научному миру памятник в первый раз был представлен на выставке древних рукописей, организованной по случаю 3 Археологического конгресса в Киеве в 1874 году. Славянские филологи, принимавшие участие в заседании конгресса, сразу поняли, что памятник представляет собой чрезвычайную редкость как в отношении времени его создания, так и с точки зрения содержания, а также языка: выставленный на конгрессе миссал, называемый с тех пор "Киевскими глаголическими листками", прежде всего по своим палеографическим и языковым признакам оказался самой древней из всех известных до тех пор старославянских рукописей. Кроме того он отличался от них тем, что был переводом с латыни /между тем как другие древние старославянские книги переводились с греческих подлинников/, и, в-третьих, — тем, что в его языке, кроме известных общестарославянских признаков — как 1-эпентетическое, l на месте праславянских *dl и *tl, s вместо ch после 2 и 3 палатализации заднеязычных, "южнославянское" окончание -e в некоторых падежах "мягкого" склонения и т. д., последовательно встречаются z вместо исконно славянского *dj, s вместо *tj/kt, šč вместо *stj, *skj и форма -ъть твор. падежа ед. ч. о-основ /в отличие от št, žď и -омь в т. наз. классических, канонических памятниках старославянского языка/.

Первое полное научное издание памятника осуществил В. Ягич /1890/, ему также принадлежит и широко распространенное в славистике с тех пор убеждение, что языковая норма Киевских листков возникла вследствие смешения в литературном употреблении классически старославянских и чешских языковых элементов¹. Но еще до Ягича иначе пытались объяснить характерные признаки языковой нормы Киевских листков Ф. Миклошич. В соответствии со своей "паннонской теорией" возникновения старославянского языка вообще он понимал последовательные южнославянские и неюжнославянские элементы в языке памятника как прямое и непосредственное отражение в нем конкретного живого диалекта, в котором, по его мнению, встречались, с одной стороны, некоторые /последовательные/ южнославянские признаки а, с другой стороны, другие /также последовательные/ неюжнославянские, а именно — западнославянские, т. е. признаки какого-то древнего переходного говора словенско-западнославянского, на котором, по не совсем определенной характеристике Миклошича, говорили где-то в северо-западной Паннонии и который, однако, с течением времени бесследно исчез².

С тех пор обе названные гипотезы о происхождении Киевских листков и их языковой нормы существуют в славистике рядом, разумеется, в разных конкретных и отличающихся друг от друга тонкими нюансами вариантах, но в общем в наши дни все же можно говорить о двух основных линиях в толковании генезиса Киевских листков: о ягичевской и о миклошичевской. Ягичевская линия с течением времени приобретала до определенной степени перевес над миклошичевской, но последняя находит все-таки в настоящее время новых защитников, напр., в лице известного польского слависта Штибера, или же голландского слависта Кортландта и его ученика Схазкена³. Оба голландских филолога помещают родину Киевских листков далее на восток,

к берегам Балатона, считая, что памятник написан на древнем /разумеется незасвидетельствованном/ переходном словацко-хорватском говоре.

"Польская" теория происхождения Киевских листков была в свое время основана на очевидном недоразумении, поэтому и неудивительно, что в развитии взглядов на памятник она представляет лишь эфемерный исторический курьез, на который славянская филология не обратила и доселе не обращает внимания. Неоднократно публиковавшееся в семидесятые годы /в конечном итоге в виде книги/⁴ мнение венского слависта Хамма, будто Киевские листки представляют фальсификацию 19-го века, в создание которой внес свою долю известный чешский фальсификатор древних рукописей В. Ганка [+ 1861/], напротив, вызвало в славянской филологии большую реакцию. Гипотезу Хамма отвергали, напр., Бирнбаум, Кортландт, Врана, Пантелич, Ондруш⁵ и другие исследователи, но особенно после издания монографий по данной теме Нимчука и Схазкена эту гипотезу можно считать окончательно опровергнутой⁶. С определенностью можно сказать, что современная наука продолжает относить Киевские листки к разряду самых древних из всех до сих пор известных старославянских рукописей.

Я хочу остановиться на двух основных линиях толкования Киевских листков и их генезиса: ягичевской и миклошичевской и, принадлежа к сторонникам ягичевской линии, хочу объяснить, почему миклошичевскую линию считаю неприемлемой.

Против нее, во-первых, говорят формальные доводы. Миклошичевцы ищут доказательства — или по крайней мере обоснование — происхождения Киевских листков в предполагаемом существовании в древности какого-то переходного западнославянско-южнославянского говора, а Кортландт и Схазкен — даже совсем конкретного словацко-хорватского говора, якобы существовавшего в районе Балатона. Этот

говор фактически не засвидетельствован, и его приходится поэтому реконструировать, что, разумеется, само по себе в языкознании не является чем-то необычным. Однако в нашем случае такая реконструкция не лишена определенного недостатка: ее проводят лишь на основе Киевских листков, никакой другой источник в доказательство существования предполагаемого переходного словацко-хорватского говора в районе Балатона на рубеже 9-10 веков не приводится. Таким образом, на первом этапе всей аргументации на основе Киевских листков реконструируется незасвидетельствованный другими источниками переходный говор в древней Паннонии, на втором же этапе этот реконструированный говор служит доказательством или по крайней мере обоснованием того, что язык Киевских листков — это, собственно, не настоящий литературный старославянский язык, а только графически зафиксированный предполагаемый единственный говор в своем чистом локальном виде. Таким образом, вся аргументация, касающаяся происхождения Киевских листков, у защитников миклошичевской линии движется по замкнутому кругу, что противоречит логике.

Во-вторых, против миклошичевской линии можно привести важные возражения лингво-исторического и лингво-географического порядка. Суть дела заключается в последовательном, 19 раз засвидетельствованном в памятнике рефлексе *z* вместо общеславянского **dj*. Как известно, первоначальным общезападнославянским рефлексом исконного **dj* была звонкая аффриката *dz*, которая в западной части западнославянской языковой территории /т. е. в лужицких и чешском языках/ изменилась в свистящий звонкий согласный *z*. Шмидтовская "волна" перехода этого *dz* в *z*, продвинувшись с запада по направлению к востоку западнославянской территории, остановилась на границах польского и словацкого языков; в южном ее секторе данную изоформу представляет в основном река Морава. По устному сообщению знатока исторической диалектологии словацкого языка Крайчовича,

с окрестностей словацкого города Скалица на восточном берегу реки Моравы начинается уже сплошная территория со словацким *dz*, следовательно, начиная отсюда, по направлению к востоку произносят *medza*, между тем как в восточных говорах чешского языка в окрестностях моравского города Годонина /на западном берегу реки Моравы близ Скалице/ произносят *z*, напр. *mez*; притом, граница *z* : *dz* оказывается исконной, т. е. она восходит к 9 веку. Из сказанного вытекает, что территория в районе Балатона расположена на восток от Древней изофоны *z*, так что, если вообще допустимо существование на этой территории в 9-10 веках переходных словацко-хорватских говоров, ожидаемым по лингво-географическим причинам и единственно возможным западнославянским рефлексом общеславянского **dj* там было бы *dz*, а не *z*.

Необходимо, однако, отметить, что формулировка вопроса о рефлексе общеславянского **dj* в Киевских листках, данная защитниками миклошичевской линии, далеко не однозначна. Напр., Схазкен в упомянутой выше книге, правда, ссылается на мнение Облака и Крайчовича, будто глаголическая графема *Ѣ* /=*z*/ могла обозначать не только фонему /*z*/, но и фонему /*dz*/, но сам он не высказывает своего личного отношения к этому мнению и не пытается дать своего решения, и более того, глаголическую графему *Ѣ* в памятнике он последовательно передает в транслитерации латиницей через *z*. Названная графема в Киевских листках выступает, с одной стороны, на месте общеславянского /*z*/ в таких словах, как *zъloba* /5v 8/, *obrazъь* /4v 19/, с другой же стороны, — последовательно на месте этимологического **dj*, напр. *дазь* /= 2-ое лицо ед. ч. повелительного накл. — несколько раз/. Предположение, будто одна и та же графема, обозначающая фонетический результат разных по своему происхождению фонем, в Киевских листках и

произносилась по-разному, т. е. в словах с исконным *z как /z/, а в словах с исконным *dj как /dz/, является далеко не бесспорным. Чтобы данное предположение было признано справедливым требуется принципиальное и убедительное объяснение того, почему писцы, в других случаях посвящавшие столько внимания и графической тщательности для дифференциации тонких оттенков произношения /ср., напр., три и-графемы или детально выработанную систему надстрочных знаков/, именно в случае /предполагаемых!/ фонем /z/ и /dz/ от их графического различия отказались. Подобного объяснения не только никто до сих пор не дал, но его просто и не существует. Необходимо принять во внимание, что в составе кирилло-мефодиевского глаголического алфавита графема с фонетическим соответствием /dz/ имелась; это было . Как известно, эта графема обозначала в древних глаголических памятниках /dz/, являющееся результатом 2 и 3 палатализации прежнего *g, напр. dzělo, kъnędzъ, na nodzě. Общая ссылка защитников миклошичевской линии на состояние канонических глаголических рукописей, в которых графемы для /z/ и /dz/, дескать, взаимно перекрещиваются, является весьма поверхностной, по отношению к Киевским листкам — анахроничной и в общем неправильной. Возникшее в результате 2 и 3 палатализации исконного *g, новое dz переходило постепенно в z; dz сохранилось донныне лишь на периферии славянской языковой территории, последовательно в польском языке /ср. na nodze, pieniądze/ и непоследовательно в территориально разбросанных говорах в Македонии. В Киевских листках графема для /dz/ совсем не встречается, потому что в них не встречаются слова или формы с бывшим *g в позиции 2 и 3 палатализации. Во всех канонических глаголических рукописях, которые на 100-150 лет /если не больше/ моложе Киевских листков, графема для /dz/ в данной позиции засвидетельствована с неодинаковой последовательностью, она уже вытесняется в них отчасти графемой для /z/.

Однако необходимо подчеркнуть, что варьирование в канонических памятниках $\dot{d}z - z$ встречается только в словах и формах с исконным $*g_{2,3}$, напр., на $\text{podzě} - \text{na pozě}$; оно никогда не наблюдается в словах и формах с общеславянским z , как напр. zývati . В Син. пс., Асс. ев., Охр. гл. л. и Рил. гл. л. первоначальное $\dot{d}z$ в этимологических позициях сохраняется /по Дильсу/⁷ почти последовательно; далее, оно достоверно засвидетельствовано еще в Зогр. и Мар. ев., в рукописи же Клоца напротив, оно зафиксировано лишь один раз, и совсем не появляется в Син. тр. Только что представленная картина сохранения и несохранения исконного $\dot{d}z$ из $*g_{2,3}$ в канонических рукописях несомненно отражает процесс постепенного перехода более древнего $\dot{d}z < / *g_{2,3} /$ в z на большей части славянской языковой территории. Но так как канонические рукописи являются списками с более древних оригиналов, восходящих в конечном счете к кирилло-мефодиевским протографам, их состояние обеспечивает своими более или менее четко намеченными следами секундарного вытеснения более древнего $\dot{d}z$ более молодым z полноправное существование $\dot{d}z$ /как фонемы и графемы/ в кирилло-мефодиевском языке. У писцов Киевских листков, которые возникли если не прямо в кирилло-мефодиевской литературной школе, то по крайней мере не позднее конца 9-начала 10 века, была бы, таким образом, в распоряжении графема для фонемы $/\dot{d}z/$, поскольку они нуждались бы в ее применении. Рефлекс общеславянского $*\dot{d}j$ они все же отражали при помощи графемы z , а не $\dot{d}z$. Из сказанного вытекает, что графема z в Киевских листках во всех позициях, в которых она появляется в рукописи, произносилось как $/z/$. Однако это фоническое соответствие графемы z в Киевских листках исключает — как было показано выше — возможность понимать язык памятника как отражение какого-то переходного словацко-хорватского говора, который — более того — фактически не сохранился и существование которого лишь предполагается.

И, в-третьих, против миклошичевской линии толкования происхождения Киевских листков можно привести веские аргументы из области социо-лингвистической и из истории культуры раннего средневековья вообще. Как я уже показал, язык Киевских листков понимается по этой гипотезе как непосредственное отражение какого-то переходного говора между западнославянской и южнославянской территориями /по концепции Кортландта и Схазкена между словацкой и хорватской/, на котором якобы говорили в далеком прошлом в Паннонии, но который не дошел до наших дней. Прочной составной, хотя и не всегда *verbis expressis* высказанной предпосылкой данного толкования, является убеждение, что язык Киевских листков — это не что иное, как до последних деталей использованный простой народный говор, только переодетый в "графическую одежду". Очень ярко и недвусмысленно эту мысль сформулировал Схазкен, согласно которому язык Киевских листков представляет собой не литературный, возвышенный "древне-церковнославянский" язык, а графически *ad hoc* фиксированный один из локальных диалектов древней Паннонии. Но представление, будто в раннем средневековье в функции литературного языка вообще и литургического языка в особенности могла выступать простая, регионально ограниченная речь, является по историко-культурным причинам абсолютно не приемлемым. Само собой разумеется, что на простой народной, в литературном отношении некультивированной и неразвитой речи были возможны записи эфемерного характера. Не без основания существует мнение, что даже в языке славян древней Моравии и Паннонии возникали в т. наз. "миссионерском" или "четвертом" языке /*lingua quarta*/ в докирилло-мефодиевскую эпоху графически фиксированные тексты для пасторационной и катехетической деятельности отдельных миссионеров. Тем не менее, эти тексты носили характер индивидуальных пособий и связанную литературную традицию они не основали⁸. Напротив, официальный литургический и церковный язык вообще пользовался

высоким общественным престижем и постоянно находился под внимательным и тщательным надзором церковных властей. На Западе совсем не хотели увеличивать число допущенных и издавна применяемых в литургии трех языков /т. е. древнееврейского, греческого и латинского/ и настояли на доктрине т. наз. "трехязычия"⁹. Но даже в Византии, которая в течение первых веков христианства была довольно толерантной по отношению к литургическим языкам, попытка образовать и ввести в литературное использование новый литургический язык в 9 веке была уже не столь простой и бесспорной. Из Жития Константина известно, как Константин философ колебался и сначала даже отверг предложение образовать "письмена" для славян и переводить "книги" на их язык; только после обещания ему защиты со стороны византийского царя он взялся за свою литературную работу. Известные по историческим источникам переговоры, интриги, борьба и вся дипломатия кирилло-мефодиевской миссии в древней Моравии, Блатнограде, Венеции и Риме касались именно литургического языка, вопроса о его допущении или запрещении. Папское допущение славянской литургии было обосновано и вызвано не только провозглашением со стороны Кирилла и Мефодия верности папской курии, оно несомненно было также и доказательством того, что старославянский — не деревенское просторечие, а настоящий литературный, возвышенный в стилистическом отношении язык сверхлокального и сверхнационального /если не "интернационального"/ назначения. Трудно себе представить, что этот литературный и литургический язык, на котором уже существовала обширная официальная и в отношении языковых норм авторитетная церковная литература, в Паннонии в конце 9-начале 10 века был сознательно и намеренно заменен в литургии /Киевские листки — миссал!/ территориально ограниченным местным говором людьми, прекрасно знавшими литературный старославянский язык моравской редакции, ибо они пользовались его алфавитом /т. е. глаголицей/. Подобное представ-

ление неприемлемо. Кирилло-мефодиевский литературный язык базировался, правда, на древних болгаро-македонских говорах, однако с момента возникновения этого языка его формировали и стилистически адаптировали в качестве литературного языка, способного блестяще выполнять все насущные коммуникативные запросы греческих подлинников, с которых переводились первые тексты. Кроме того, сверхнациональное предназначение относится к самым характерным чертам старославянского языка с самого начала его существования. Напомним в связи с этим хотя бы слова моравского посла /по ЖК/: "хоть люди наши язычество отвергли и держатся закона христианского, нет у нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил правую христианскую веру, чтобы и другие земли, глядя на это, уподобились нам"¹⁰. Не ограниченно локальное, а широкое в территориальном масштабе назначение старославянского языка повлекло за собой определенную его способность приспосабливаться к разной, что касается отдельных деталей, диалектно особой, но в общем все же родственной и взаимно близкой славянской обстановке везде, где им пользовались в функции литургического и литературного языка; это приспособление могло быть или намеренным, программным, или же ненамеренным, спонтанным. Впечатление непоследовательного смешения разных по своему происхождению языковых элементов в древних рукописях обусловлено по большей части тем, что они, собственно, являются списками — иногда не единственными — с более древних протографов; их язык и графика являются, таким образом, результатом постепенного накопления нескольких, отличающихся друг от друга тонкими деталями диалектных славянских слоев, своего рода языковых суперстратов над основной языковой нормой. В случае Киевских листков единственный довод, приведший в свое время Ягича к убеждению, что обсуждаемая рукопись является списком с более древнего оригинала, потерял с течением времени свою аргументационную силу: слово *rovanije*, которое Ягич считал — как *hapaх legomenon* — ошибкою, кор-

Дуптелой на месте ожидаемого им *darovanije*, было позже открыто в литургическом каноне в честь св. Вячеслава и Р. Нахтигал объяснил его как заимствование из древневерхнемец. *argvanī*. Таким образом, нельзя исключить возможность, что Киевские листки - протограф. В пользу этого толкования говорит то обстоятельство, что именно в протографа непоследовательное смешение разных по своему происхождению языковых элементов не имеет места. Последовательность в Киевских листках признаков южнославянских, с одной стороны, и западнославянских — с другой, убедительно объясняется в ягичевской линии как результат обдуманной реформы литературного языка с целью его приспособления к местной языковой ситуации в древней Моравии. Последовательность перенесения характерных языковых признаков из более западной области древних западнославянских диалектов в основную языковую норму, основанную первично на незападнославянской базе южнославянских солуньских диалектов, вскрывает намеренность этой реформы, понятной лишь как результат деятельности первого поколения великих основоположников и создателей старославянского языка в процессе его формирования и становления, то есть не только поколений, пользующихся старославянским языком как окончательно уже готовой и более или менее прочной языковой нормой в более поздний период¹¹.

Кроме критических замечаний насчет миклошичевской линии толкования Киевских листков, следует привести также позитивные аргументы в пользу ягичевской линии. Самым важным мне кажется прежде всего неопровержимый факт тесных родственных взаимосвязей языка Киевских листков и Пражских глаголических отрывков, в чешском происхождении которых не сомневаются даже защитники миклошичевской линии. Они, однако, не вполне серьезно принимают во внимание значение взаимной языковой близости обеих рукописей для решения вопроса

о происхождении более древней из них, т. е. Киевских листков, ссылаясь иногда на то, что в Пражских отрывках, дескать, не намечается та последовательная дистрибуция разных с генетической точки зрения языковых элементов, которая налицо в Киевских листках. Но такая весьма поверхностная характеристика в сущности лишь отчасти отвечает действительному положению дел. Необходимо подчеркнуть, что в Пражских отрывках встречаются, с одной стороны, все структурные языковые признаки неюжнославянского происхождения, имеющиеся также в Киевских листках¹², т. е. $z < *dj$, $c < *tj$, $*kt$, $\check{s}\check{c} < *stj$, $*skj$, тв. п. ед. ч. о-основ на -ъть, ср. *chvalęcimъ* IB 15, *utvrъzenie* IB 22, *na sudišči* IIB 21, *drěvъ/мъ/ križънъть* IIB 10-11. Кроме того, в Пражских отрывках встречаются также некоторые не имеющиеся в Киевских листках языковые элементы неюжнославянского, собственно чешского происхождения, как \check{s} в корне $*v\check{s}ch-$, ср. *všěch'* IA 17, или род. п. мн. IIA 18, твор. п. ед. ч. ъо-основ сред. рода на -imъ, ср. *směrenimъ* IA 25; некоторые из них засвидетельствованы в памятнике в виде дублетных форм к "классическим" старославянским, т. е. собственно южнославянским, напр., отсутствие л-эпентетического : его применение, ср. *prěstavenie* IB 25 : *prěpol/ovl/enie* IA 7, $dl : l$, ср. *světil'na* IB 9-10 : *světil'na* IA 22, в известных окончаниях мягкого склонения "ять" : ϵ , ср. *bcě* /=*bogorodicě*/ IB 25 : *otъ zemę* IB 26.

Таким образом, вполне можно сделать однозначное заключение, что литературно языковым субстратом Пражских отрывков выступает та же самая специфическая, характеризующаяся признаками z , c , $\check{s}\check{c}$, -ъть, языковая норма, которая засвидетельствована в Киевских листках; особая норма, которая взаимно связывает Киевские листки и Пражские отрывки, в результате чего обе названные рукописи отличаются от всех остальных канонических старославянских рукописей, поскольку последние характеризуются признаками $\check{z}d$, $\check{s}t$, -омъ. Наличие в Пражских отрывках остальных, так сказать "сверхнормативных" диалект-

но неюжнославянских языковых признаков вполне понятно, если принять во внимание, что между возникновением Киевских листков и появлением Пражских отрывков проходит временной промежуток приблизительно в 150-200 лет, в течение которых в исконную норму, представленную языком Киевских листков, могли постепенно проникать всё новые и новые местные явления; в более молодом из названных памятников отражаются, между прочим, также изменения редуцированных и носовых гласных, которые в Киевских листках безусловно сохраняются еще в своем этимологическом состоянии.

Пражские глаголические отрывки даже защитники миклошичевской линии считают памятником чешско-старославянским /напр. Схазкён/. Какой же литературный и литургический язык импортировали в Чехию после крещения архиепископом Мефодием чешского князя Борживоя? Разве это был не официальный церковный язык моравского и политического центра, т. е. собственно литературный язык кирилло-мефодиевской литературы, и следовательно старославянский моравской редакции, а территориально ограниченная диалектная, деревенская речь периферии Великой Моравы? Последовательность неюжнославянских языковых элементов *z*, *c*, *šč*, -ъть среди остальных южнославянских языковых признаков кажется защитникам миклошичевской линии непреодолимым препятствием для признания гипотезы о возникновении языковой нормы Киевских листков в результате языкового смешения классических старославянских элементов с местными моравскими. Последовательность тех же самых структурных признаков языковой нормы Пражских отрывков, однако, они таким препятствием не считают. Последовательные признаки *z*, *c*, *šč*, -ъть Киевских листков и Пражских отрывков, хотя они как норма литературного языка образуют идеальное единство и тождество, в духе миклошичевской линии могут быть объяснены только как возникшие независимо друг от друга, в каждом из названных памятников отдельно. Притом, языковая норма Киевских листков представляла бы — по миклошичевскому толкованию — целостное отражение норм пред-

полагаемого переходного западнославянско-южнославянского говора древней Паннонии; между тем как характерные признаки неюжнославянского происхождения в Пражских отрывках должны были бы возникнуть, наоборот, как результат языкового смешения, т. е. вытеснения соответствующих южнославянских признаков классического старославянского чешскими. Вся эта путаница внутренне не связных, а в отдельных случаях даже противоречащих друг другу, высказываний устраняется, если допустить, что язык Пражских отрывков представляет не что иное, как более позднее продолжение языковой нормы старославянского моравской редакции, засвидетельствованной в своем исконном виде Киевскими листками и несистематически добавочно богемизированной в течение своего продолжительного существования на чешской почве.

Кроме того, в пользу ягичевской линии говорит и словарный состав Киевских листков. Некоторые из лексических единиц, редко засвидетельствованных в древних памятниках, связывают Киевские листки с литературными произведениями древней Моравии и Чехии. К этим редким словам Киевских листков принадлежат напр., *inokostь*, имеющееся также в Беседах на евангелие Григория Великого, *мъѣса* — в Венских глаголических отрывках, Житии Мефодия, Номоканоне и I Житии Вячеслава Чешского, *отъplatiti* — в Беседах, *prěfacija* — в Венских отрывках, *rovanije* — в литургическом каноне в честь Вячеслава Чешского, *въсрѣ* — в Венских отрывках, Житии Мефодия, Законе судном людем, *рарежь* — кроме календарных частей Асс., Остр., Охр., Енин. — еще в Житии Константина Философа, Житии Мефодия, в официях св. Вита и в Молитве к св. Троице, *zakonьnikъ* — кроме евангельских текстов и апостола, — еще во Фрейзинг. отрывках, II Житии Вячеслава Чешского, Беседах, Апокрифическом евангелии Никодима и в Кирилло-Мефодиевских официях¹³. Лексические звенья, связывающие Киевские листки с литературными произведениями, возникшими в центре древней Моравии и Чехии, напрочь выбивают почву из-под предположения, будто

Киевские листки возникли где-то на отдаленной периферии древнего Моравского государства на территориально ограниченном местном деревенском говоре, не имевшем ничего общего с литературным и литургическим языком всего государства.

Из всего сказанного вытекает, что толкование происхождения Киевских листков в ягичевской линии более соответствует истине, чем толкование в миклошичевской линии.

Литература

- 1 V. Jagić: *Glagolitica*, Wien 1890; Einige Streitfragen 1. Zur Provenienz der Kijever glagolitischen Blätter, *AslPh* 20, 1888, 1-13; 4. Nochmals die Kijever Blätter, *AslPh* 22, 1890, 39-45.
- 2 F. Miklosich: *Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I. Lautlehre*, Wien 1879², 219-224.
- 3 Z. Stieber, in: *Biuletyn Polskiego Tow. językozn.* 14, 1955, 76; О языке Киевского миссала, в: *Исследования по славянскому языкознанию*, М. 1971, 106-109; *Jeszcze o Mszaie Kijowskim*, *Studia z filol. pol. i słow.* 17, 1978, 313-314; F. Kortlandt: *Zur Akzentuierung der Kiever Blätter*, *ZslPh* 41, 1980, 1-4; J. Scheken: *Die Kiever Blätter*, Amsterdam 1987.
- 4 J. Hamm: *Das glagolitische Missale von Kiev*, Wien 1979.
- 5 H. Birnbaum: *Wie alt ist das altertümlichste slavische Sprachdenkmal? Weitere Erwägungen zur Herkunft der Kiever Blätter und zu ihrem Platz in der Literatur des slavischen Mittelalters*, *WdSl* 26/2, 1981, 225-258; F. Kortlandt, см. прим. 3; J. Vrana: *Kijevski listovi nisu falsifikat*, *Slavia* 50, 1981, 322-326; M. Pantelić: *O Kijevskim i Sinajskim listićima*, *Slovo* 35, 1985, 5-56; Š. Ondruš: *Z lexiky Kyjevských listov: v7sod7*, *Slavica Slovaca* 19, 1984, 36-43; Из лексиката на Киевските листове, *Старобългаристика* 10/3, 1986, 49-53.
- 6 В. В. Німчук: *Київські глаголичні листки*, Київ 1983; J. Schaecken, см. прим. 3.
- 7 P. Diels: *Altkirchenslavische Grammatik*, Heidelberg 1932, 47, 128-129, 139.

- 8 A. Isačenko: Začiatky vzdelanosti vo veľ'komoravskej ríši, Jazykovedný zborník 1-2, 1946-47, 137-178, 265-317; F. Zagiba: Das Slavische als Missionssprache. Die sog. Lingua-quarta-Praxis der bayerischen Mission, WdSl 12, 1967, 1-18; Das Slavische als Missionssprache /lingua quarta/ und das Altkirchenslavische als lingua liturgica im 9-to. Jh., in: Studia palaeoslovenica, Praha 1971, 335-340.
- 9 K. Куев: История на триезичната доктрина и борбата на Кирил и Методий срещу тя, в: Симпозиум Кирило-Методиевистика и старобългаристика, София 1982, 28-39.
- 10 Сказание о начале славянской письменности, отв. ред. В. Д. Королюк, М. 1981, 86-87.
- 11 N. Trubetzkoy: Altkirchenslavische Grammatik, Wien 1954; Ф. В. Мареш: Древнеславянский литературный язык в Велико-моравском государстве, ВЯ 1961, № 2, 12-23; E. Pauliny: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľ'kej Moravy, Bratislava 1964; V. Tkadlčík: Dvě reformy hlaholského písemnictví, Slavia 32, 1963, 340-366; R. Večerka: Zur Periodisierung des Altkirchenslavischen, in: Methodiana, Wien-Köln-Graz 1976, 92-121.
- 12 F. V. Mareš: Pražské zlomky a jejich předloha v světle hláskoslovného rozboru, Slavia 19, 1949-50, 54-61; Pražské zlomky a jejich původ v světle lexikálního rozboru, Slavia 20, 1951, 219-232; P. Večerka: Великоморавские истоки церковнославянской письменности в Чешском княжестве, in: Magna Moravia, Praha 1965, 493-524; J. Vrana: Praški glagoljski odlomci kao svjedok neprekidne ćirilometodske tradicije u Češkoj do kraja XI stoljeća, Radovi Zav. za slav. filol. 10, 1968, 175-178, Slavia 39, 1970, 238-249.
- 13 см. отдельные словарные статьи в Slovník jazyka staroslověnského, Praha 1958.